

Мишель де Серто (1925–1986) – французский историк, социальный философ; член Общества Иисуса (иезуиты); вместе с Ж. Лаканом, один из основателей «Школы Фрейда» (1964). Центральная оппозиция предлагаемого читателям эссе¹ – взгляд на город сверху, с реальной (небоскреб) или воображаемой (карты, картины, проекты) высоты versus жизнь в городе, освоение жителями его пространства в противостоянии зримому урбанистическому порядку, созданному правящими инстанциями. На примере способов смотреть, гулять, называть город автор, переходя от описания собственных субъективных впечатлений к историческим экскурсам и семиотическому анализу, изображает пространство как место борьбы «тактик» и «практик» социальных агентов с макро-структурами власти².

По городу пешком³.

Мишель де Серто

Увидеть Манхэттен с высоты сто десятого этажа Всемирного торгового центра. Внизу, в дымке ветров, город-остров – или иное море: вздыбилось небоскребами Уолл-стрита, успокаивается в Гринич-Виллидж, снова вздымается гребнями центрального Манхэттена, стихает в Центральном парке и, наконец, за барашками Гарлема, устремляется вдаль. Зыбь вертикалей. Мельтешение, на мгновение остановленное глазом. Гигантский поток скован взглядом, превращен в текстурологию⁴, где сходятся крайности (горделивый взлет и безвольное падение), грубые контрасты племен и стилей; обветшалые билдинги, похожие на мусорные баки, уступают место буйной архитектурной поросли. Нью-Йорк – не Рим: он так и не овладел искусством стареть, играя своими эпохами. Его настоящее ежечасно творит себя заново, отбрасывая достижения прошлого и бросая вызов будущему. Город конвульсий, запечатленных в монументальных рельефах; наблюдатель может прочесть его как вселенную нескончаемого взрыва. В образ этого города вписаны архитектурные фигуры *coincidatio oppositorum*, что некогда встречались на средневековых миниатюрах и в текстах мистиков. На этой сцене из бетона, стали и стекла, отрезанной холодной водой от

¹ Оно же – первая глава третьей части самой, пожалуй, влиятельной работы М. де Серто – «Изобретение повседневности» (L'Invention du Quotidien. Vol. 1, Arts de Faire. Union générale d'éditions. 1980) или, в английском переводе, «Практика повседневной жизни». Резюме книги см.: <http://ecsocman.edu.ru/db/msg/116623.html>.

² На русский язык переведены следующие тексты М. де Серто: из монографии «История как письмо» (1975) – Сотворение места // Сегодня. 1996. № 165; Искаженный голос // Новое литературное обозрение. 1997. № 28; Разновидности письма, разновидности истории // Логос. №4 (30). 2001. Из «Баснословия мистиков» – Сад: блажь и блаженство Хиеронимуса Босха // Художественный журнал. 1996. № 13. Из первого тома «Изобретения повседневности» – Хозяйство письма // Новое литературное обозрение. 1997. № 28; Голос в кавычках // Ex Libris НГ. 1998. № 8.

³ *De Certeau M. Walking in the city // The Practice Of Everyday Life. Trans. by Steven Rendall. Berkeley, Ca., 1984. © Regents of University of California Press. Перевод А. А. Космарского (с сокращениями).*

⁴ Не «текстура», а именно «текстурология». «Суффикс –логия (от “логос”) обычно отсылает к научному, к рациональному дискурсу ... Но в тексте де Серто он обозначает не сам дискурс, а его предмет. Автор изобретает не науку “текстурологию”, а критический концепт, раскрывающий суть определенного научного дискурса» (Gosselin S. Atelier philosophique n°4: cabinets de curiosités / APO33. Ateliers de l'année 2002-2003. Voyeurs et marcheurs, lire avec Michel de Certeau, par Sophie Gosselin. (<http://jottavi.nerim.net/divers/atelier4test.html>) – Прим. перев.

«океанов» Атлантики и Америки, самые высокие буквы в мире декламируют гигантское сочинение на тему излишеств в производстве и потреблении.

Глазеть – гулять

Но к какому классу эротических эффектов знания отнести экстаз от чтения этого пространства? Уже насладившись, я задаю себе вопрос – в чем источник удовольствия «видеть всё», смотреть сверху вниз, укрощать самый необузданный из текстов, созданных человеком?

Подняться на вершину ВТЦ означает вырваться из лап города. Тело больше не сжимается улицами, свободно от их безличной власти вертеть и разворачивать; его уже не оглушают кричащие контрасты и не нервирует нью-йоркский транспорт. Поднимаясь наверх, я оставляю позади себя поток, похищающий и перемешивающий любые «я», будь они творца или зрителя. Икар над волнами может позволить себе пренебречь уловками Дедала, пригодными лишь для бесконечных подвижных лабиринтов внизу. Возможность смотреть со стороны, вознесенность делает из меня вуайериста; превращает чарующий мир, которым я был околдован, в лежащий перед глазами текст – я могу читать его, стать солнечным Оком, смотреть свысока подобно богу. Гностическо-скопическая экзальтация. Быть лишь точкой зрения, и более ничем – эротическая фантазия разума.

В конечном счете, обречен ли я вернуться в темное пространство шевелящихся толп, видимых с высоты и слепых там, внизу? Падение Икара. Плакат на сто десятом этаже, подобно сфинксу, обращается к пешеходу (провидцу на час) с загадочным посланием: *It's hard to be down when you're up*¹.

Воля к видению города родилась прежде технических возможностей ее реализации. Художники Средневековья и Возрождения изображали город в перспективе, еще недоступной человеческому глазу, превращая своих зрителей в богов. Так много ли нового во «всевидящей власти» нашей техники? Изобретение живописцев былых времен – схематизирующий (*totalizing*) взгляд – живет в наших творениях; их утопия материализуется в современной архитектуре. 415-метровая башня, этот ростр Манхэттена, проясняет сложность города и фиксирует его непроницаемую изменчивость в прозрачном тексте; это повествование само творит своих читателей.

Необъятная текстурология – свиток, развернутый перед моими глазами – лишь образ, оптический артефакт, подобный творениям инженеров, градостроителей и картографов. Проекция – это инструмент, позволяющий им соблюдать дистанцию и оставаться на высоте. Город-панорама («теоретический», т.е. визуальный симулякр) возможен только в силу забвения и превратного толкования повседневных практик.

Однако жизнь горожан протекает на земле, ниже порога обзримости. Тела этих пешеходов, *Wandersmänner*, следуя всем изгибам городского «текста», записывают его, но неспособны прочесть; познают город вслепую (словно любовники – свои тела). Переплетение путей, непризнанные поэмы, чьи знаки наступают друг на друга, ускользают от прочтения (кажется, самая характерная черта практик городской жизни – слепота). Их

¹ На высоте трудно быть в подавленном состоянии. – Прим. перев.

подвижные надписи перемешиваются и складываются во множество историй, лишенных авторов и зрителей, выкроенных из пространственных фрагментов: историй, противостоящих репрезентациям – своей повседневностью, неопределенностью, инакостью.

Повседневность, ускользя от визуального учета и контроля, в некотором смысле не обладает поверхностью; или ее поверхность – лишь верхний предел, выделяющийся на фоне видимого. Именно в этих границах я обнаруживаю практики, чуждые «геометрическому» или «географическому» пространству визуальных, паноптических¹, теоретических конструкций, отсылающие к особому способу действия, к иной спациональности («антропологическому», поэтическому и мифологическому переживанию пространства) – а также к *темному и слепому* течению городской жизни. Таким образом, в прозрачный текст спланированного города вторгается город *кочевой*, город метафорический.

Город: от концепта к практикам

Впрочем, Всемирный торговый центр – лишь один монументальный образец западного урбанизма. Утопия/апатия оптического знания родилась из стремления выявить и преодолеть противоречия городского образа жизни, управлять концентрацией человеческих масс. «Город – это огромный монастырь» (Эразм Роттердамский). Перспектива (в живописи) и рациональное планирование – вот орудия, позволившие спроецировать темное прошлое и неясное будущее на контролируемую поверхность. Появление этих двух сил ознаменовало (в шестнадцатом веке?) превращение города из *факта* в *идею* – и, еще задолго до того, как та воплотилась в истории, город уже виделся подвластным урбанистическому *ratio*. Город не приравнивается к своему концепту, но их отношения постепенно становятся симбиотическими: планировать город – значит *вообразить саму множественность* реального и, далее, придать этому образу мысли *действенность*.

Работающий концепт?

Каковы условия реализации «города» утопического и урбанистического дискурса?

Во-первых, производство его *собственного* пространства и, следовательно, рациональное устранение угроз его чистоте, какой бы ни была их природа – физических, ментальных и политических.

¹ Термин Иеремии Бентама, обозначающий особую конструкцию тюрьмы, позволяющую надзирателю наблюдать (–оптикон) всех (пан–) заключенных, причем они никак не смогли бы узнать, смотрят на них сейчас или нет. Идея и сам термин приобрел известность в XX в. главным образом благодаря Мишелю Фуко. «В своем образе Паноптикона Фуко дал парадигму другого типа власти, который пришел на смену абсолютизму, но веками развивался под его сенью и в конечном итоге обеспечил путь нетоталитарной интеграции общества, основанной на законе и дисциплине. Паноптическое наблюдение основано на принципе невидимости власти, противоположном абсолютистскому принципу ее тотальной видимости. Паноптическая власть контролирует благодаря тому, что видит все и остается невидимой». (Эткинд А. Фуко и тезис внутренней колонизации: постколониальный взгляд на советское прошлое // Новое литературное обозрение. №49. 2001. <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/49/etkind.html>) – Прим. перев.

Во-вторых, гомогенное время прогресса должно подавить упорное сопротивление традиций. Научно точные (благодаря умению проецировать все данные на плоскость) стратегии обязаны прийти на смену тактикам социальных агентов, норовящих «воспользоваться случаем» и, благодаря разного рода непредвиденным обстоятельствам, снова и снова воспроизводить беспорядок истории.

Наконец, в-третьих, создается *универсальный* и автономный *субъект* – сам город. Как и его коррелят в области политической теории, гоббсовское государство, город постепенно берет на себя все функции и свойства, до того разбросанные и разделенные среди множества различных субъектов – групп, сообществ и индивидов. Идея «города» (словно это имя собственное!) позволяет воспринимать и конструировать пространство на основе ограниченного числа стабильных, отделяемых друг от друга, но взаимосвязанных свойств.

В этом пространстве, организуемом спекулятивными и классифицирующими операциями, управление идет рука об руку с уничтожением. С одной стороны, устройство города усложняется (в результате перераспределения функций, перемещений, накопления капиталов и рабочей силы и т.д.); с другой стороны, всё, что не поддается такого рода управлению, «отходы» функционалистской администрации – преступность, сумасшествие, болезнь, смерть – бракуется и отбрасывается. Конечно, прогресс возвращает в сферу административной компетенции всё большее число этих «отходов», и даже изъяны в системах (здравоохранения, правопорядка и пр.) помогают сделать сети порядка более плотными. Однако в конечном счете режим приходит к результатам, прямо противоположным его задачам: система наращивания прибылей рождает убытки – нищета и расточительство постоянно сводят производство на нет «издержками» и «тратами». Более того, рационализация города приводит к его мифологизации в стратегических дискурсах – то есть в расчетах, основанных на гипотезах или требующих разрушить город, дабы достичь окончательного решения.

Наконец, организация города в функционалистском духе, превознося прогресс (т.е. время), предает забвению пространство – условие своего собственного существования; пространство становится «слепым пятном» технологий науки и политики. Территория превращений и присвоений, объект всевозможного вмешательства, но в то же время субъект, обретающий всё новые свойства; равно реквизит и герой этой пьесы современности (*modernity*).

Но и сегодня город-концепт не уходит со сцены. Тем не менее приходится признать: если в области дискурса он стал прямо-таки фетишем социоэкономических и политических стратегий, то в самой городской жизни возрождаются элементы, вычеркнутые урбанистическим проектом. Язык власти, политическая риторика «урбанизируются» – зато город перестал быть объектом регулярных операций; отдан противоречивым силам, играющим в свои игры вне досягаемости паноптического контроля. Под покровом идеологизирующих город дискурсов неуловимые силы упражняются в уловках и хитростях; лишённые четкой структуры, непроницаемые перед светом разума – они не поддаются управлению.

Возвращение практик

Город-концепт угасает. Значит ли это, что болезнь урбанистического *ratio* и его творцов поразила самих горожан? Возможно, это и так, и города деградируют вместе с организовавшим их порядком. Но будем осторожными – жрецы разума всегда верили: если наша идеология или статус под угрозой, вся планета в опасности. Они превращают неудачу своих теорий в теории неудач, маскируя свое замешательство алармизмом. Неужели их правота неоспорима?

Итак, от риторики прогресса к риторике катастрофы – обречены ли мы оставаться в поле этого дискурса? Возможен иной путь: обратиться к микроскопическим практикам, пережившим закат урбанистической власти, призванной управлять или подавлять их; обнаружить мириады спонтанных действий, которые избежали всеобъемлющего административного контроля и, накопив силы в своей плодотворной незаконности (*reinforced themselves in a proliferating illegitimacy*), просочились в систему надзора. В соединении с незаметными, но упорными тактиками эти действия и силы образуют ткань повседневности, ее конвенций, ее тайной творческой силы, едва скрытой под покровом истеричных механизмов и дискурсов надзирающей власти.

Описанное направление анализа многим обязано Мишелю Фуко. Однако тот, изучая структуры власти, обратился к техническим операциям, «малым средствам», призванным, с помощью управления, дифференциации и классификации любых отклонений, касающихся здоровья, труда, образования, правосудия и армии, превратить неорганизованные человеческие массы в дисциплинарное общество. Эффективность этих мельчайших уловок порядка, небольших, но надежных механизмов зависит от взаимодействия с утилизируемым ими пространством. Но какие *практики* реализуются в зоне действия этих машин по производству дисциплинарного поля? Данный вопрос обретает особую значимость в современной ситуации, отличающейся коллективным характером власти над пространством и индивидуальным – его присвоения (*reappropriation*), ведь пространственные практики исподволь формируют определяющие условия социальной жизни. И свою задачу я вижу в том, чтобы осуществить часть процедур – многообразных, неуловимых, хитрых, упрямых процедур, ускользающих от порядка, не покидая пределов поля его действия, чтобы привести нас к теории – к теории повседневных практик, обживаемого пространства (*lived space*), волнующей привычности города.

Хор праздных шагов

В поступи истинная сказалась богиня.

Вергилий, «Энеида», I, 405

История нулевого этажа; история шагов. Их бесконечность не разложима на последовательности. Они не поддаются статистике – у каждого свой голос, своя манера осязательного движения. Их оглушительная масса – это коллекция неисчислимых индивидуальностей. Благодаря шагам точки соприкасаются и пространства обретают плоть. В сущности, движения пешеходов образуют одну из тех «реальных систем», из которых складывается город. Шаги не локализованы в пространстве, но, скорее, сами продуцируют его (*spatialize*). Их также можно уподобить иероглифам, которые китайцы, в

его (*spatialize*). Их также можно уподобить иероглифам, которые китайцы, в уличном диалоге, рисуют пальцами на ладонях.

Конечно, движения ног можно проследить, фиксируя на картах их следы (тропы – там проторенные, здесь еле заметные) и траектории (выбирается один маршрут и отвергается другой). Но эти видимые линии лишь отсылают (как и слова) к отсутствию сказанного/пройденного. Каталоги маршрутов упускают то, что происходит на деле: сам акт хождения. Бродить, гулять, глазеть по сторонам – движение прохожих преобразуется в точки и линии на карте, и нашим глазам открываются лишь останки, размещенные в ахронии (*nowhen*) проекционной поверхности. Видимое (карта) скрывает породившее его действие; практики подменяются своими следами. Такая вот (хищная) особенность географической системы: обеспечивая «читаемость» действий и событий, она нередко способствует забвению бытия-в-мире.

Риторика ходьбы

Прогулка раскладывается на последовательности поворотов, которые можно уподобить «оборотам речи», стилистическим фигурам. Риторика ходьбы: искусно строить фразу и выстраивать маршрут. Как и с естественным языком, это искусство предполагает комбинации стиля и узуса. Стиль – структура, проявляющаяся на символическом уровне фундаментальность индивидуального бытия-в-мире – единичен. Узус же – социальный феномен, посредством которого реализуется коммуникативная система; он, напротив, отсылает к коллективной норме. И стиль, и узус относятся к образу действия (говорения, хождения и пр.), но стиль – это индивидуальные особенности обработки символического, а узус связан с элементами кода. Вместе они создают «стиль употребления» (*a style of use*), *modus essendi* и *modus operandi*.

Мой приятель из Севра, приезжая в Париж навестить мать, перемещается в сторону Севрской улицы и улицы Сент-Пер¹, хотя те находятся совершенно в другой части города: его шаги складывают из этих топонимов предложение, о котором он даже не подозревает. Пронумерованные улицы и уличные номера (*112th St.*, или *9 rue Saint-Charles*) способны ориентировать магнитное поле маршрутов не меньше, чем преследовать во сне. Другая моя знакомая подсознательно избегает «именных» улиц, навязывающих ей идентичность, свой порядок и систему классификации, и звучащих как повестка в суд. Она выбирает безыменные и не «подписанные» маршруты, но, таким образом, имена собственные подспудно направляют ее движения.

Что же выражают топонимы? Расположенные в порядке, иерархизирующем и семантически организующем облик города, эти имена, приводя в систему хронологию и оправдывая историю, медленно стираются, подобно монетам (Боррего, Ботцарис, Бугенвилль²...), но их способность означать переживает первоначальный смысл. Сент-Пер,

¹ Севр – город, в настоящий момент – юго-западный пригород Парижа. В его направлении и ведет Севрская улица (в Средние века – Севрская дорога), в которую упирается улица Сент-Пер. – *Прим. перев.*

² Парижские улицы. Название первой связано с мексиканской авантюрой Наполеона Третьего (1863), вторая носит имя одного из деятелей греческого национально-освободительного движения

Корантен Сэльтон¹, Красная площадь... они открыты разнообразию значений, вкладываемых в них прохожими. Отделившись от «своих» мест, топонимы служат воображаемыми точками маршрутов, действуя подобно метафорам – важен не буквальный, а переносный смысл (который прохожие или считают, или нет). Топонимика, оторвавшись от реальных пространств, парит в небе над городом; туманная география застывших значений, с высоты направляющих физические перемещения: площадь Звезды, Согласия, Рыбного рынка... Эти созвездия имен структурируют дорожное движение; по этим звездам прокладывают маршруты. «Площади Согласия не существует, – говорил Курцио Малапарте, – это идея». Больше, чем идея! И десятка метафор не хватит на то, чтобы описать магическую силу имен собственных – направляющих эмблем, что путешественники носят, подобно украшениям.

Объединяя шаги с поступками, открывая направления и смыслы, топонимы работают на опустошение и снашивание своей первичной роли; их пространство высвобождается. Благодаря семантической разреженности стало возможным писать поверх географии буквальных, запретных/разрешенных значений иную, поэтическую географию. В исторически функционалистском порядке передвижения имена прокладывают ходы, куда проникают праздные шаги: я наполняю это великое пустынное пространство прекрасными именами.

Люди приводятся в движение останками смысла (а иногда – и его отходами), вывернутыми наизнанку следами великих стремлений. Шаги пешеходов ориентируют и наполняют смыслом мельчайшие субстанции; имена, которые, в сущности, перестали быть собственными.

В конечном счете, поскольку названия обладают аурой «локальной авторитетности», являются «местечковыми предрассудками», их заменяют на цифры: мы уже не вызываем по телефону «Опера» [Place de l'Opera], а набираем «073». То же происходит с историями и легендами, этими «лишними» обитателями городского пространства – сама логика техноструктуры делает их жертвами «охоты на ведьм». Но их истребление (как и уничтожение деревьев, лесов и других потайных мест, где и живут легенды) порождает застывший символический порядок. Город перестает быть жилым. Как выразила это ощущение одна женщина из Руана: «никаких особенных мест не осталось, только мой дом, вот и всё... Ничего, совсем». Ничего «особенного», что бросалось бы в глаза, раскрывалось бы воспоминанием или рассказом, обозначало бы что-то или кого-то. Только домашняя пещера еще благоприятствует вере, открыта легенде, всё еще полна теней. А так, по словам другого горожанина, остались лишь места, «где уже не во что верить».

Благодаря своей способности сохранять многообещающую тишину и бессловесные истории – или, вернее, дарить подвал и чердак каждому дому, местные легенды (*legenda*: то, что *должно* быть прочитано, но также и то, что *может* быть прочитано) делают пространство открытым и, следовательно, жилым. Сейчас прогулки и путешествия подменили умершие легенды в роли «выпускных отверстий», способов уходить и возвращаться; теперь в иные миры уносят физические перемещения, а не «суеверия», приоткрывавшие

(1821–1829), третья – известного французского мореплавателя, совершившего кругосветное путешествие в 1766–1769 гг. – Прим. перев.

¹ Станция парижского метрополитена. Названа в честь деятеля Сопротивления, расстрелянного нацистами. – Прим. перев.

пространство Иному. Путешествие может обращаться вспять/вовнутрь, превратиться в «изучение пустынных уголков памяти», приход к экзотике ближнего круглым путем, через далекие страны; или в «открытие» реликвий и легенд («мимолетные образы французской провинции», «фрагменты музыки и поэзии») – в общем, в форму «подрубания собственных корней» (Хайдеггер). В противном случае оно творит именно тот корпус легенд, что утратили наши кварталы; подобно снам и риторике ходьбы, эта проза рождается благодаря двойному эффекту сдвига и сгущения. Таким образом, мы можем приравнять практики означивания (если так назвать легенды) к практикам, создающим пространство.

Рассказы о местах изготавливаются кустарным способом из обломков широких структур. Даже если художественная форма и актантные схемы «суеверий» соответствуют стабильным моделям, устройство и комбинации которых изучаются уже тридцать лет, их содержание (все риторические детали на уровне манифестации) слеплено из остатков номинаций, таксономий, героических или комических сюжетов – в общем, из разбросанных семантических фрагментов. Все эти разнородные и даже противоречащие друг другу элементы заполняют гомогенную форму рассказа. *Иное* и *избыточное* прокладывает ходы в навязанных структурах – таковы же и отношения между пространственными практиками и конструируемым порядком. Его поверхность протыкается и разрывается утечкой, сдвигом, зиянием смысла; это протекающий порядок, порядок решета.